

Михаил Вайскопф
Еврейский университет в Иерусалиме
michweisskopf@gmail.com

Michael Weisskopf
Hebrew University of Jerusalem
michweisskopf@gmail.com

«РОССИЮ ОТНЯЛИ, КАК НОГУ»:
ГРАФОМАНИЯ В РУССКО-ИЗРАИЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
1920–1930-х И 1970–1980-х ГОДОВ
(краткий обзор)

“RUSSIA WAS AMPUTATED LIKE A LEG”:
GRAPHOMANIA IN RUSSIAN-ISRAELI LITERATURE
OF THE 1920s–30s AND 1970s–80s
(A brief overview)

Эссе описывает графоманское творчество тех репатриантов, которые по переселению сперва в Палестину (1920–1930-е гг.), а затем в Израиль (1970–1980-е гг.) спешили запечатлеть на языке покинутой страны свой жизненный опыт и свои убеждения. Тексты авторов первого поколения демонстрируют слабое владение этим языком, совмещенное у них с русской революционной риторикой, адаптированной к принципиально иной ситуации. Более позднее поколение, как правило, лучше владевшее русским языком, принесло с собой антисоветский настрой, соединенный с пафосом эмиграции — но в то же время запечатлело свое разочарование и ностальгию. В любом случае вся эта графомания имеет не столько литературное, сколько антропологическое значение.

Ключевые слова: тривиальная литература, социализм, толстовство, троцкизм, труд, арабы, погромы, Израиль, репатриация.

The essay describes the graphomaniac writing of those repatriates who, after resettling first to Palestine (1920–1930) and then to Israel (1970–1980s), hurried to capture their life experiences and beliefs in the language of the abandoned country. The texts of the first generation authors demonstrate a poor command of this language, combined with Russian revolutionary rhetoric adapted to a fundamentally different situation. The later generation, who usually had a better command of the Russian language, brought with them an anti-Soviet attitude combined with the pathos of emigration — but at the same time imprinted

their disappointments and nostalgia. In any case, all this graphomania has not so much literary as anthropological significance.

Keywords: trivial literature, socialism, Tolstoyism, Trotskyism, labor, Arabs, pogroms, Israel, repatriation.

В этом беглом эссе я никоим образом не покушаюсь на адекватное определение самого термина «графомания». Предлагаемый подход, как любили изъясняться в незабвенные советские времена, будет заведомо антинаучным. Согласно ему, подлинная графомания — это своего рода вербальная диарея, состояние, при котором человек просто не может не писать нечто, претендующее на литературность — конечно, если не подразумевается стилизация прутковского или олейниковского типа. Возможны и нюансы: так, А. Жолковский применительно к Маяковскому его казенной поры предпочитал другой термин «плохопись». Я со своей стороны могу засвидетельствовать, что еще в докомпьютерную эру знал у нас в Израиле коммерсанта, который невостребованными сочинениями до отказа заполнил нутро своего вместительного дивана — вроде того, как у кота Бегемота был полный примус валюты. В общем, ни дня без строчки.

Тем не менее слишком часто соответствующее определение зависит от актуального культурно-исторического, политического либо ситуативного контекста. Никому не придет в голову уличать в плохописи либо графомании литературно беспомощные письменные свидетельства или автобиографию человека, повествующего о пережитых им ужасах наподобие Холокоста или ГУЛАГа.

Есть эпохи, когда колоссальные потрясения размыкают уста, заведомо не приспособленные к словесности. В послеоктябрьский период пресловутая ликвидация безграмотности сильно способствовала массовому доносительству. Возможно, тут срабатывала, так сказать, и память жанра, связанная с самим усвоением письма: специалисты знают, что половину берестяных грамот составляли доносы. Как бы то ни было, молодую советскую Россию затопила графомания, с ее разгулом пролеткультов, рапповцев, рабкоров и всяческой верноподданной кустарщины — со всеми этими «взвейтесь и развейтесь», по слову булгаковского персонажа. Отсюда, допустим, и газетный отклик на кончину вождя в 1924-м: «Я горечь смертную познал: Я Ленина в гробу видал» (цитирую эти стихи со слов О. Ронена, не помнившего их точный источник). По контрасту приведем зато жизнеутверждающую партийную эротику Безыменского:

О что же делать мне со мной,
Что делать мне, мой край заводский?
Хочу сказать: «Любимый мой» —
А выговариваю: «Троцкий»!

Число подобных курьезов легко было бы размножить — но я беру их лишь для разбега, поскольку занимаюсь все же иным изводом графомании — русско-израильским. Для меня как для израильтянина достаточно того, что приведенный материал не оставит нас в обидном одиночестве. Предварительно я хотел бы подчеркнуть, что в так называемом «русском Израиле» есть блестящие поэты — в первую очередь, покойный Генделев — и прекрасные прозаики — такие, как Александр Иличевский, Дина Рубина, Моше Гончарок. Хотя почти все они свой литературный путь начинали еще в России, у нас они обрели новое дыхание. Третий, Гончарок, стал писателем именно в нашей стране. Но сейчас мы будем говорить о совсем других временах и других людях.

В первой четверти XX века, то есть на заре еврейской репатриации в Палестину — или Страну Израиля, как мы ее называли, — основная часть репатриантов русским языком по-настоящему овладеть еще не успела. Неудивительно, что за вычетом блистательного Жаботинского и некоторых даровитых людей его круга, а также кое-каких левых публицистов сионистская муза изъяснялась по-русски довольно скверно. Что делать, чем богаты, тем и рады — тут уж, как говорил Манилов, «щи, но от чистого сердца». Слабое знание русского не мешало некоторым переселенцам именно на этом языке изливать свои чувства, сохраняя одновременно зависимость сперва от народнических, а затем и советских клише — и литературных, и идеологических. Ведь тогдашним социальным идеалом левого сионизма, утвердившегося в еврейской Палестине, была утопическая крестьянская община, взятая в ее марксистском либо смежном преломлении. Огромную роль сыграло и толстовство — существовало влиятельное сионистско-толстовское аграрное движение «Хапоэль ха-цаир», т. е. «Молодой рабочий». Его представляли убежденные коллективисты, одержимые идеей полнейшего равенства.

Особый и болезненный аспект их утопии представляло собой отношение к большевизму. Его послереволюционная борьба с антисемитизмом надолго предопределила симпатию к советскому режиму в левосионистских слоях. Однако с середины 1920-х Советы вступают в яростную борьбу с сионизмом любого толка. Главным инициатором репрессий была Евсекция, то есть Еврейская секция ВКПб (позднее и сама перебитая Сталиным за ненадобностью). В данном случае примечательно, что чисто хронологически эта травля совпала с кратковременным подъемом НЭПа, который вызвал, как известно, резкое отторжение в левобольшевистском стане — прежде всего, среди рабочей оппозиции и у троцкистов, обвинявших сталинско-бухаринское руководство в буржуазном перерождении.

Между тем аналогичную вражду к НЭПу в Стране Израиля выказывали и многие сионисты, крайне далекие, казалось бы, от внутрибольшевистской свары. Экзотическим памятником этого противостояния стала пьеса С. Кругликова «В красных тисках», вышедшая в 1927 году в Тель-Авиве в упомянутом толстовско-сионистском издательстве «Ха-поэль ха-цаир»

и сплавившая в себе антибольшевистский заряд с антибуржуазным настроением. В то же время сама стилистика и весь сюжет этой вещи проштампованы большевистской революционной риторикой.

Действие пьесы разворачивается под Одессой. Группа сионистских идеалистов — халуцов (первопроходцы, пионеры) — в своей коммуне с воодушевлением занимается земледельческим и прочим физическим трудом, готовясь к репатриации в Палестину, о которой они мечтают денно и нощно. Возглавляет их образцовый пролетарий, рабочий-металлист Владимир Зильбер. Но его возлюбленная — это уже потомственная еврейская крестьянка Эстер Орлова. Другими словами, в миниатюре рисуется сионистская версия того самого «союза рабочих и крестьян», каким величал себя кремлевский режим.

К Эстер вожделеет влиятельный вельможа Фрейман — «заведующий евсекцией в Одессе». Ненависть к сионизму он совмещает с похотью и стремлением развратить девушку. Короче, перед нами специфическая разновидность старого французского (а, соответственно, карамзинского) сюжета о распутном дворянине, который домогается юной и невинной поселянки. В согласии с этим каноном он искушает ее столичными чарами:

Поедем в Москву, там мне предлагают хороший пост. <...> Ведь признайтесь, правда, вам уже давно надоело в деревне сидеть и работать круглый день: убирать двор, ходить на работу в поле, поить коров, кормить кур, возиться все время с навозом... <...> А там, в столице, бурная красивая жизнь: развлечения, увеселения, визиты, прогулки <...> Что вам здесь? Ни театра, ни людей, ни вечеринок... Или вот поедите в эту вашу Палестину: камни, песок, беднота, без куска хлеба уверенного. Без удовольствий, развлечений...

В ответ Фрейман слышит презрительную отповедь, сплавившую в себе нравственное достоинство с аграрным руссоизмом, толстовским культом целительного земледелия и сионистской ностальгией:

Вы думаете заманить меня жизнью столицы и ее обманным блеском. Весь горя жадой развлечений и увеселений, в поисках барской жизни, вы находите для меня унижением и никчемным толком ходить в поле, кормить кур, возиться с навозом. Вы зовете меня к той беспечной жизни, которую вы мне сулите. Напрасно! Мы — простые дети природы, простые хлеборобы. Каждое утро при восходе солнца мы хвалим природу и красоту свободной жизни. Мы чеством не торгуем. (Гордо): Да, я останусь крестьянской девкой. Я выберу, я избрала себе рабочего... Вам же я рекомендую пойти порыться среди отставных генеральских дочек и дворянских отбросов. Там, в этом мусоре, вы найдете подходящий для себя товар. Там вам доставят удовольствие, вечеринки, поцелуи и продажную любовь.

Разъяренный Фрейман дает понять, что в Палестину ее могут и не выпустить и вообще намекает на репрессии. Тогда героиня резонно обвиняет самого Фреймана в организации этих гепеушных гонений, жертвами которых уже стали ее друзья: «— Вы и ко мне, быть может, все время ходили,

чтоб лучше выслушивать и вынюхивать... Прочь от меня кровавые руки!» Из этих рук девушку вызволяет Владимир Зильбер: «— Это так вас, милостивый государь, в комъячейке учили с девушками обращаться? Таково последнее слово ленинизма?»

Встречаются здесь и другие сцены с изобличением т.н. совбуров, или «советских буржуев». Одна из второстепенных героинь, распутная дамочка буржуазного происхождения, бахвалится: «— Знаем мы, чем этих новоиспеченных совбуров брать: им чем аристократичнее, тем завлекательней <...> А как эти коммунистики ручки дамочкам целуют! Умора!» В сущности, подобные филиппики неотличимы от тех обвинений в буржуазном перерождении, которые в период НЭПа сталинско-бухаринскому руководству предъявляли рабочая оппозиция¹ и приверженцы Троцкого — впрочем, отождествлявшие самих себя именно с «подлинным ленинизмом», а вовсе не порицавшие последний. Те же темы отрабатывались и в тогдашней советской беллетристике — напомним хотя бы о *Рваче* Эренбурга.

Помимо того, описанные Кругликовым репрессии, которым подвергались в СССР сионисты, весьма смахивают на бедствия всевозможных оппонентов большевистского ЦК — сперва эсеров и меньшевиков, а затем и троцкистов. Сообразно звучит и обличительная риторика сионистских коммунаров: «Сколько наших товарищей погибло по тюрьмам <...> О, в этом отношении большевистские ученики достойны своих царистских учителей. Иркутская область, Соловецкий монастырь, Туркестан, муки по пересыльным тюрьмам... Новые палачи не хуже старых свое дело знают. Проклятье им, этим душегубам». Более того, оказывается, коммунистические «мерзавцы хуже царских волкодавов: те хоть разрешали близким сопровождать в ссылку ссыльных, а эти и того не разрешают».

Хотя действие датируется 1924–1925 годами, сама пьеса, как уже говорилось, появилась в 1927-м — т. е. именно тогда, когда на XV съезде ВКП(б) троцкизм был окончательно разгромлен, множество его сторонников арестовано, а главный ересиарх сослан в Алма-Ату. Как бы то ни было, мы встречаем в книжке причудливую конвергенцию толстовского сионизма с этим самым троцкизмом, уличавшим режим в термидоре, — схождение тем более казусное, что к сионизму троцкисты относились ничуть не лучше сталинского политбюро.

В троцкистской среде героическая борьба с кремлевским режимом изображалась, как известно, по тем же трафаретам, что и бывшая борьба

¹ Любопытно, однако, что в самой Палестине такие же чувства несколько позже, в 1930 г., по отношению к здешним капиталистическим тенденциям испытывал русский моряк и поэт Боевский (Глеб Боклевский), который стал приверженцем правых идей Жаботинского и одним из создателей еврейского флота: «Но ведь гнусно, что в новом краю Спекулянту дорогу пробили мы, Мещанину мы дали уют. Десять лет и труда, и страдания, От культуры отход десять лет, Чтоб Европу в паршивом издании Преподнести человеческой тле! — Цит. по: Хазан Владимир. *Одиссея капитана Боевского. Русский моряк в Земле обетованной*. Москва: Дом еврейской книги, 2007: 189.

революционеров против самодержавия. Кульминацией героики служили подпольные маевки с ритуальным пением «Интернационала», заглушаемого жандармами. В пьесе этот канон получил, однако, сионистскую окраску. Герои устраивают тайную встречу в лесу, выставив дозорных, а сигналом опасности должен стать все тот же «Интернационал». И в самом деле, на поляну врывается Особый отряд ГПУ. Владимира Зильбера и других арестованных халуцов чекисты уводят. Однако вместо «Интернационал» арестованные поют теперь сионистский гимн — «Ха-тикву».

Инициатором ареста оказался, естественно, мстительный ревнивец Фрейман. Металлурга Зильбера отправляют в Соловки, а остальных высылают в Палестину. Там они прилежно трудятся на родной земле, однако сионистская пастораль обрывается трагедией. Эстер узнает, что Владимир Зильбер умирает на Соловках, и ее охватывает безутешное горе.

И все же социалистические установки сионизма были одобрены остаточной симпатией к советской России, о которой я скажу несколько позже.

Куда более злободневной проблемой оставались все же взаимоотношения с арабами. Первоначальным идеалом левого сионизма, доминировавшего в еврейской Палестине, было вовсе не обособленное национальное государство, а содружество двух равноправных и, как тогда полагали, близкородственных народов: евреев и арабов. Догматическая наивность и скудость воображения заставляли сионистских идеалистов верить, что соседнее население точно так же стремится к взаимопользному мирному сосуществованию. Но серия погромов и грабежей, учиненных арабами, вносила в эти казусные надежды слишком убедительные коррективы. Настоящим шоком в 1929 году стал еврейский погром в Хевроне, где было вырезано 67 религиозных ортодоксов, не имевших ни малейшего касательства к сионизму.

Памятником неимоверной растерянности социалистов остались кустарные вирши из книжки Йошуа Анкори *Нападение*, опубликованной им в 1930-м по следам хевронской и сопутствующих катастроф. К чему эта свирепая ненависть, урезонивает он некоего гипотетического араба: *«Не чужие мы с тобой: мы друг другу — родня, мы расой связаны одной, одна у нас звезда»*. Ведь здесь, в Палестине, мы *«хотим народа два связать одной семьей... И сегодня, как всегда, протягиваем вам руку мира и добра, как братьям и друзьям»*. (Впору уточнить, что сам Анкори считал это стихами.) *«Хватит солнца двоим, хватит моря нам и им. Каждый город в два конца мы разделим в круга два. Не мешаем мы другу — друг: у всех нас отдельный плуг. Песню создадим одну на нашу общую страну»*.

Но как все же совместить столь одностороннее братолюбие с хевронскими зверствами? И тут автор словно раздваивается. Внезапно, вопреки собственному пацифизму, он начинает упрекать самих евреев в извечном национальном пороке — благодушном беспамятстве и мгновенной готовности простить палачей:

Гнев у вас переночует,
А назавтра его нет.

...

Скоро, скоро забываем
Все обиды мы свои;
Скоро, скоро мы прощаем
Врагу любому все грехи.
Улыбку первую встречая,
Согреваемся огнем,
И первым руку подавая,
Говорим врагу «пардон».

Возвращаясь к вопросу об отношении левых сионистов к СССР, следует заметить, что наперекор тягостной реальности оно в целом отличалось скорее доброжелательностью, так что на этом фоне пьеса Кругликова выглядела исключением. До самого Дела врачей (1953), а порой и гораздо позже здесь искренне верили в энтузиазм пролетариата, в пафос социалистического строительства и проецировали кремлевскую пропаганду на собственный труд по возрождению страны. Вера в советские добродетели не обошла и видного поэта раннего Израиля Авраама Шленского, который, среди прочего, замечательно перевел на иврит *Евгения Онегина*. Тем не менее, он сразу впадал в лирическое слабоумие, едва речь заходила о трудовых подвигах халуцов, стилизованных у него под советские агитки. В совершенно адекватном переводе израильского коммуниста Александра Пэна выглядели они так:

Вот заступ засверкал, дробя оков тиски.
И заревели камни и пески.

Разумеется, есть тут и стальной конь, сменивший верблюда, и прочие атрибуты советских пятилеток. В другую эпоху язвительному израильскому критику, писавшему под псевдонимом Семен Столпнер, они ожидаемо напомнили шедевр Остапа Бендера «Цветет урюк под грохот дней, Горит зарей кишлак...», и это исчерпывающее соответствие отменяет всякую потребность в дальнейшей цитировании нашей производственной музыки.

К концу 1960-х гг. в Израиль потянулись единичные пока советские репатрианты, попавшие сюда в основном из Польши. Люди это были, как правило, не обремененные русской культурой. Тем не менее, и они захотели поведать о себе на родном языке в новых условиях — условиях невиданной свободы. Кое-кто из них сохранил, однако, прежний страх перед советской системой — хотя скорее всего это было беспокойством за родных, оставшихся в СССР. Заодно они удержали и советские риторические штампы, перелицованные теперь на сионистский лад. Таким человеком был некто, под псевдонимом Аркадий выпустивший в 1968 году книжку с заемным названием *Тропой грома* — сборник стихов и автобиографическую повесть; свой фотопортрет он конспиративно заштриховал. Мне говорили, что в Союзе он был милиционером, а в Израиле дослужился до сержанта

полиции. Нужно принять во внимание, что он еще мальчишкой — с 17 лет — добровольно вступил в Красную армию, стал орденоносцем и дошел до Берлина. Неудивительно, что его сборник, изданный вскоре после Шестидневной войны, пронизан наивно-патриотическим пафосом типа «Это с нашим знаменем Мойше-командир». Приведу несколько строк такого рода:

Вставай, народ наш праведный.
Иди в последний бой,
С новой фашистской нечистью,
С арабскою ордой.

Есть, впрочем, и пацифистские лозунги:

Несбудется (sic) ваше желанье
Пред всем миром нас очернить.
Потому, что наше желанье
В мире со всеми жить.

Здесь я прекращаю цитирование из простого сострадания к покойному автору. Другим, куда более колоритным примером представляется мне человек, подписывавшийся Семен Ремовский. Он провел 29 с половиной лет в сталинских лагерях, где прославился под емкой кличкой Лева Жид — Гроза блатного мира. Родился он в Париже, в семье циркачей из Одессы, колесивших по Европе со своим шапито, и сам с детства стал цирковым артистом широкого профиля — акробатом, укротителем, фокусником. Во время НЭПа семья вернулась было в родную Одессу, где, однако, в 1927-м отца расстреляли, а сына посадили. Правда, потом в Израиле Лева в силу живости нрава тоже умудрился схлопотать три года условно.

Читать и кое-как писать по-русски он научился только в 17 лет, так что всегда был не в ладах с грамматикой и сходными материями. И все же на Западе он издал две автобиографии на этом языке (имелись и переводы на английский) с завлекательными названиями: *Со дна жизни* (с обозначением Воркута-Нью-Йорк) и *Защита острее меча*. Обе они интересны в первую очередь своей стилистикой — смесью «блатной музыки» и бульварных эффектов в духе жестокого романа. В принципе, автор вполне мог бы удовлетвориться показом собственной жизни — уникальной и поистине фантастической — однако, следуя привычным условностям лагерной среды, приобщил к ней бродячие сюжеты, выдав их за чужие истории. Одной из них стал сюжет, полюбоившихся ворами и уркаганам, но подозрительно совпадающий с «Франсуазой» Мопассана: беглец из лагеря по ошибке совокупился в борделе с собственной сестрой.

Когда с начала 1970-х в Израиль стали прибывать уже десятки тысяч советские евреев, здесь сразу возникло обоюдное недоумение. Ситуация напоминала зарю постмодерна: то была встреча зонтика и швейной машинки на операционном столе. С точки зрения репатриантов, на исторической родине слишком многие относились с мистическим доверием к кремлевской пропаганде и «достижениям советской культуры». Израильская

корова всё ещё хотела, чтобы её кормили с капиталистического Запада, а доили с коммунистического Востока. Если еще в 1950-х в израильских школах изучали опыт советских пятилеток, то и в 1970-х по всей стране, особенно в кибуцах, с хроническим умилением по-прежнему распевали песни типа «Калинки-малинки» или «Марша энтузиастов», от которых репатриантов мутило. В самых левых кибуцах любовно хранились про запас — хотя уже не вывешивались — портреты Сталина. Я сам репатрировался в 1972-м и, среди прочего, ссылаюсь здесь на собственный опыт.

Как и должно происходить в годы политических катаклизмов и нахлынувшей свободы, репатриантами овладела безудержная жажда творчества, сопряженная с понятным желанием обрести собственную культурно-общественную нишу в новой жизни. Некоторых коренных израильтян это явление, однако, неприятно озадачивало — они ведь надеялись на быстрое, безболезненное и пассивное вращение репатриантов в их собственную культуру. Известный, очень хороший израильский писатель Алеф-Бейт Йехошуа говорил при мне с наивно-эгоцентрическим возмущением: «Ничего не понимаю!!! Я-то надеялся, что они быстро перейдут на иврит и станут моими читателями — а они зачем-то начали лепить здесь собственную литературу на русском!»

Так или иначе, репатриантами, да и обычными иммигрантами овладела в Израиле страсть к литературному самовыражению (нечто вроде того, что происходило в пореволюционной русской эмиграции). Для кое-кого из них все осложнялось недостаточным знанием русского языка, на котором они пытались излагать свой житейский и эмоциональный опыт — в том числе и в лирических признаниях. Так, бывший чемпион Латвии по боксу развеселил многих задумчивым двусмысленным: «Я болен тобою, А ты параною». Другие прибегали к макароническому новаторству. К примеру, совсем неплохой, в общем, поэт Борис Камянов (сейчас он возглавляет писательское объединение) ради вящей экзотики и вживания в израильский быт решил заменить скучное русское слово «осел» его местным эквивалентом — и тогда в одном из его стихотворений прозвучал *«Нечеловечий крик хамора»*, порадовавший тех, кто полагал, что этот крик и впрямь трудно назвать человеческим.

Многие, особенно пожилые люди, тяжело переживали, однако, разлуку с прежней родиной. В виде ностальгической альтернативы Израилю иногда противопоставлялась некая вымечтанная антисоветская или досоветская Русь, благоухавшая мощами, озимыми и городовыми. Метафорой ее утраты могло служить временная смерть или увечье, о котором сказано, например, у Анатолия Добровича (1989): «Россию отняли, как ногу./Культя нет-нет, а заболит./Стучу протезом, инвалид,/Входя в родную синагогу».

Никуда не делся, с другой стороны, и пожизненно ввевшийся в некоторых авторов чванливый советский дух, который я хотел бы мельком проиллюстрировать картинкой литературных нравов. Напористый и величавый выходец из Кишинева Ефим Баух, или, заглазно, ЕБаух, сколотил

и возглавил целый Союз русскоязычных писателей Израиля — собственный подвиг Совписа, с заёмной иерархией, распределением наград и чиновпочитанием. Он разродился целым выводком эпических и неимоверно напыщенных «романов-снов», объединив их новаторским обозначением «семилогия». Заглавие одного из таких «романов-снов» выглядело так: *«Между ножом и овном: Проза над краем пропасти»*. Соответственно, язвительная рецензия на него называлась «Путем овна». Другой его перл говорит об эрудиции этого нового Гомера: «древний оратор Демокрит, набравший в рот камней».

Но все это лишь иллюстративные мелочи. Говорят, что в сегодняшней сетевой словесности их наберется несравненно больше, но я за ней не слежу.

К концу текста я должен покаяться в том, что сама его тема заставила меня переключиться в этот несколько глумливый, а потому заведомо несправедливый регистр. Фактически мы соприкасаемся тут с громадным явлением, которое посредством русскоязычной словесности искало для себя исторической или, скорее, метаисторической санкции. Здесь, однако, не место оговорить о ней сколь-нибудь подробно — тем более, что я посвятил этим поискам несколько специальных статей. Как бы то ни было, меня утешает надежда на то, что представленная здесь скромная коллекция графоманских казусов поможет нам хоть немного развлечься в наши хмурые времена.

И тут, как говаривал Сталин, «я кончаю, товарищи».

Михаил Вајскопф

„РУСИЈУ СУ ОДУЗЕЛИ КАО НОГУ“:
ГРАФОМАНИЈА У РУСКО-ИЗРАЕЛСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ
1920–1930-ИХ И 1970–1980-ИХ ГОДИНА
(кратак преглед)

Резиме

У есеју се описује графоманско ставралаштво оних повратника који су се након пресељења у Палестину (1920–1930-х), а потом у Израел (1970–1980-х) журили да забележе на језику напуштене земље своје животно искуство и своја уверења. Текстови аутора прве генерације појаују слабо владање тим језиком, који се код њих повезивао с руском револуционарном реториком, адаптираном на апсолутно другачију ситуацију. Каснија генерација која је, по правилу, боље владала руским језиком, донела је са собом антисовјетска расположења у спрези с емигрантским патосом, али оистовремено је забележила своје разочарење и своју носталгију. У сваком случају сва графоманија нема само књижевни него и антрополошки значај.

Кључне речи: тривијална књижевност, социјализам, толстојевштина, троцкизам, рад, Арапи, погроми, Израел, репатријација.